

Сергей Сергеев

К вопросу об уникальности русской власти в европейском контексте (1450 - 1917)

Государственная власть (как, впрочем, и любая другая) постоянно стремится к экспансии. С этим свойством власти связана проблема её *границ*. Ясно, что злоупотребления властью были, есть и будут, от них невозможно избавиться раз и навсегда, как невозможно избавиться вовсе от преступности или болезней. Но можно ограничить возможности для властного произвола. В разных цивилизациях и обществах это делалось по-разному. Радикальнее всего – в Западной Европе и наследующих ей США. Борьба с тиранией – красная нить истории и политической мысли Запада.

Как в «западном» контексте выглядит российская власть? Не нужно уходить вглубь веков, достаточно посмотреть свежие новости, чтобы почувствовать её специфику.

Нередко можно услышать, что политическая система путинской РФ – прямое наследие тоталитарного СССР. В этом, разумеется, много правды, учитывая советский генезис не только президента и его ближайшего окружения, но и нескольких поколений россиян, пока ещё доминирующих во всех сферах жизни нашего Отечества. Советский период русской истории отмечен беспрецедентным уровнем государственного насилия. Конечно, этот уровень после 1953 г. существенно снизился, но, за исключением последних, «перестроечных» лет своего существования, СССР всегда оставался страной без политических и гражданских свобод.

Были ли эти свободы в России до прихода большевиков к власти? Были, но очень недолго – каких-то 12 лет, отсчитывая от Манифеста 17 октября 1905 г. до переворота 25 октября 1917 г. И как не углубляясь в прошлое, там не найти исконно русских институтов, ограждавших подданных петербургских императоров и московских царей и великих князей от произвола правителей (лишь только в домонгольской Руси мы обнаруживаем нечто подобное). Если такие институты и возникали – то под прямым европейским влиянием. Опричный террор Ивана Грозного, уступая по масштабу сталинскому, типологически с ним весьма сходен. Понятно, что и Европа старого порядка была далека от современной демократии, но нам не нужны археологические изыскания, дабы разыскать корни последней – довольно вспомнить английский парламент, родившийся ещё в XIII столетии.

Начиная с середины XV в. и вплоть до наших дней русскую власть отличает «особенная статья». Современный историк А.И. Фурсов (к сожалению, в последнее время переквалифицировавшийся в сомнительного конспиролога) в своё время выделил две её основополагающие черты: 1) «надзаконность» (воля верховного правителя – «единственный источник власти и закона, внутренней и внешней политики»), 2) «автосубъектность» («эта власть... была исходно сконструирована как автосубъект, т.е. субъект-сам-для-себя... Такой субъект... не только не нуждается в другом субъекте, но и стремится не допустить его появления/существования, это... негативный субъект, стремящийся к единственности, к моносубъектности»). По мнению Фурсова, «[у] русской власти... нет аналогов ни на Западе, ни на Востоке, это исключительно русский феномен».

Я не готов – в силу недостаточной компетентности – ни соглашаться, ни спорить с Фурсовым (востоковедом по специальности) насчёт отсутствия аналогов русской власти на Востоке. В первом приближении она кажется одной из форм «восточной деспотии» с её формулой «власть-собственность», описанной Л.С. Васильевым. Но, повторяю, рассмотрение русской власти в «восточном» контексте потребовало бы слишком глубокого погружения в него. Поэтому ограничимся выявлением отечественного своеобразия на европейском фоне.

Если следовать Максиму Веберу, то наше самодержавие является разновидностью *патримониализма*, т.е. формы традиционного господства, выросшей из патриархального подчинения домашних – главе дома, «детей» – «отцу». Патримониализм – «это господство одного над массами», реализующееся посредством «личного управленческого (и военного) штаба господина», причём «служебная верность патримониального чиновника – это не лояльность по отношению к делу, определяемая правилами, объемом и содержанием решаемых задач, а верность слуги, направленная исключительно лично на господина...». Патримониализм был свойственен и Западу, однако там он носил сословный характер, т.е. господин в силу тех или иных причин передавал часть своих полномочий «союзам сословно привилегированных лиц», имевшим набор фиксированных прав. Права эти, конечно же, нарушались, но само их наличие никем не подвергалось сомнению. Таким образом, власть на Западе изначально формировалась как полицентричная структура (не забудем также и автономность католической Церкви).

Российский же вариант патримониализма, сложившийся в Московский период, более всего похож на то, что Вебер определил как *султанизм* – господство, «по способу управления движущееся в сфере свободного, не связанного традицией произвола»; господство, при котором «до крайности развита сфера свободного произвола и личной милости». Слабость или даже отсутствие других властных субъектов, а также зависимость православной Церкви от государства, действительно делали русское самодержавие близким к «моносубъектности». О таком понятии, как «права подданных», ни московские государи, ни сами их подданные и слыхом не слыхивали. Характерно, что само слово «государство» в России образовалось от титула «государь», обозначающего хозяина, имеющего власть над несвободными людьми, в отличие от безличных европейских аналогов – *stato, state, état, Staat* и т.д. (Даже последний русский монарх в анкете переписи населения 1897 г. в графе род занятий написал: «*Хозяин земли русской*».)

Как видим, Россия и Запад по типу власти различались уже в Средневековье. А в конце XVI в. между ними произошёл ещё более радикальный разрыв – в Европе государство стало восприниматься как структура, автономная от личности правителя (впрочем, истоки этого понимания восходят едва ли не к XI – XII, а то и к V - VI вв., например, в вестготской Испании уже в VI в. право и правовая мысль различали короля, королевство и подданных как составляющие части государства). Т.е. начался переход от патримониального к бюрократическому государству. С конца XVIII в. вместо прав привилегированных сословий утверждаются, постепенно распространяясь на всё более и более широкие слои, «права человека и гражданина». В России же профессиональная бюрократия формируется только с середины XIX в. (и то с оговорками). Практики политической демократии появились только в начале прошлого столетия, вскоре, впрочем, подавленные и выхолощенные коммунистической диктатурой и так и не реанимировавшиеся в наше время.

Рассмотрим свойства русской власти предметно.

Итак, *надзаконность*. Начнём с чисто юридического аспекта. В 1450 - 1550 гг. в русском законодательстве о власти самодержца не говорится вообще ничего. Наиболее известный юридический документ той эпохи – принятый в 1497 г. при Иване III Судебник, практически полностью посвящён процессуальному праву и не содержит ни малейшего намёка на интересующую нас тему. В Судебнике 1550 г., принятом при Иване IV в эпоху т.н. реформ Избранной рады, появляется статья 98 – в соответствии с ней, «которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела с государева доклада и со всех бояр приговору вершатца, и те дела в сем Судебнике приписывати», т.е. новые законы должны быть обязательно одобрены Думой. Среди историков нет согласия, является ли эта формула юридическим ограничением царской власти или принципом единогласного принятия решений. В любом случае, практика последующих лет достаточно скоро перечеркнула эту статью.

1649 г. – принимается Соборное Уложение. Самодержавие и там осталось там без какого-либо описания. В главе II «О Государской чести, и как Его Государское здоровье оберегать» мы находим лишь наказания за преступления против монарха. Зато уменьшаются права Думы. Вместо прежней формулировки появляется новая: «А бояром и окольными и думным людям сидети в палате и по государеву указу государевы всякие дела делати всем вместе».

При Петре, несмотря на все его декларации об обязанностях монарха, никакие новые законы, ставившие пределы царской власти, не издавались и не замышлялись. Царь-реформатор вообще не создал нового свода законов, и основой русского законодательства в его правление оставалось Соборное Уложение. После Петра до конца XVIII столетия так и не был составлен свод *действующих* юридических норм, несмотря на целый ряд (что-то около десяти) попыток. Не был он составлен и при известном своими либеральными стремлениями Александре I.

И только при Николае I создаётся Полное собрание и Свод законов Российской империи. Это, конечно, огромное достижение – наконец-то, хаос российского законодательства был приведен в определённый порядок. Но всё же Свод законов был лишь внешней систематизацией исторически накопившегося законодательного материала, а не целостным кодексом гражданского права, подобным Кодексу Наполеона. «Наши Своды, к сожалению, даже в *самый день их издания* всегда более – *история*, нежели *статистика* законодательства», - записал в 1843 г. в дневнике государственный секретарь М.А. Корф. Крупнейший русский правовед Н.М. Коркунов вообще отрицал, что Свод имеет характер закона

Зато ещё при Павле I была найдена формула русского самодержавия, ставшая позднее первой статьёй свода законов Российской империи: «Император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной Его власти не токмо за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает». В течение всего XIX-го и первых лет XX-го в. эта формула оставалась неизменной. В первых же параграфах введения к фундаментальным «Началам русского государственного права» А.Д. Градовского (1875) это положение подробно разъясняется: «Название “неограниченный” показывает, что воля императора не стеснена известными юридическими нормами, поставленными выше его власти... Выражение “самодержавный” означает, что русский Император не разделяет своих верховных прав ни с каким установлением или сословием в государстве, т.е., что каждый акт его воли получает обязательную силу независимо от согласия другого установления».

Наконец, в Основных законах 1906 г., принятых под давлением революции 1905 г. из павловской формулы выпадает эпитет «неограниченный», теперь она читается: «Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная власть» (ст. 4). Статья 7 поясняет, что именно изменилось: «Государь Император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Советом и Государственной Думою». Далее подробно расписываются императорские полномочия во внешней и внутренней политике. Таким образом, за четыре с половиной столетия существования русское самодержавие определялось законами меньше 11 лет. Но надо отметить, что психологически Николай II не мог смириться с ролью конституционного монарха и продолжал воспринимать Думу как чисто совещательное учреждение.

При этом, начиная с Екатерины II, официально считалось, что неограниченная власть русских монархов имеет законный характер и опирается на некие неизменные законы, которые они нарушать не могут. Но что это за неизменные законы понять было трудно, поскольку, как писал в учебнике по истории русского права периода империи (1899) известный правовед В.Н. Латкин, «практика не делала никакого различия между законом и административным распоряжением, если последнее исходило непосредственно от верховной власти, считая их по силе действия вполне равнозначущими». Таким образом, «своим указом император мог наделить любое выбранное им

постановление законодательной силой, даже если оно не было обсуждено установленным порядком или противоречило более ранним законам» (Р.С. Уортман). В 1885 г. Александр III утвердил проект, разработанный в императорской канцелярии, по которому конституирующим признаком закона признавалось «подписание имени государя императора», что окончательно закрепило внесение в Свод законов заведомо административных распоряжений.

Характерно, что российские монархи, в отличие от большинства европейских, при восшествии на престол не произносили клятв своим подданным. Исключение – крестоцеловальная запись Василия Шуйского и гипотетическая крестоцеловальная запись Михаила Фёдоровича, но традицией это не стало.

Замечательно, что надзаконность определяла отношения русских монархов даже в отношениях с собственным аппаратом. Т.е. самодержцы всё время стремились выйти за рамки уже закреплённых бюрократических процедур и реализовать свою волю посредством каких-то чрезвычайных учреждений. Наиболее экстремальный вариант – опричнина Ивана Грозного. Но подобная практика присуща и другим венценосцам. При Алексее Михайловиче это был Тайный приказ; Пётр создал Сенат, но до 20% всех именных указов и не подлежащее подсчёту количество устных приказов шло через Кабинет Его Императорского Величества. Павел вообще стремился решать всё сам. При Александре I появляется Государственный совет, но многие законы издаются помимо него (что продолжает происходить затем вплоть до Николая II), а в конце его правления всё решает Императорская канцелярия во главе с Аракчеевым. При Николае I такой «чрезвычайкой» становится Третье отделение, которое никак не прописано в законодательстве.

Самодержавие до самого конца так и не сформировало институт единого правительства (оно было только при Столыпине). Каждое ведомство было автономно, и контроль над их деятельностью осуществлялся в основном через личные доклады министров императору. Министр внутренних дел в 1860-х гг. Валуев так объяснял причину подобной практики в дневнике: «Самодержавная власть... находит в разладе между министрами некоторое обеспечение своей всецелости и неприкосновенности. Она чувствует себя как будто самодержавнее при исполнителях, между собою не согласных, чем при исполнителях единомышленных. В единомышленности заключается самостоятельная сила, а всякая самостоятельная сила предполагается не иначе возможною, как в ущерб силе самодержавной». Это, кстати, к вопросу о переходе России от патримониального к бюрократическому государству.

На практике надзаконность русского самодержавия выражалась в многочисленных актах властного произвола. В качестве одного из примеров можно привести долгоиграющую проблему престолонаследия. Закона о престолонаследии в Московском государстве не существовало. Был устоявшийся *обычай* – власть, как правило, передавалась от отца к старшему сыну. Но при этом, «[п]раво наследника устанавливалось... усмотрением царствующего государя». (В.И. Сергеевич). Так, Иван III сначала сделал своим наследником внука Дмитрия и в 1498 г. венчал его на царство, а в 1502 г. «положил на него опалу», отправил в заточение, а наследником сделал сына от второго брака Василия.

Эта удивительная для Европы свобода передачи престола при Петре закрепилась указом 1722 г. – отныне назначение наследника отдавалось на усмотрение самого императора, «дабы сие было всегда в воли правительствующего государя, кому оный хочет, тому и определит наследство...». Характерно, что, обосновывая указ о престолонаследии, царь-«западник» с почтением ссылается на опыт Ивана III. Кстати, и расправа с царевичем Алексеем тоже вполне уникальна в европейском контексте.

То, что творилось с российским престолом в XVIII в. после Петра, Тютчев очень точно назвал сплошным уголовным делом, а француз Массон говорил, что это можно сравнить только с

нравами Марокко. Павлу попытался переломить ситуацию своим Актом о престолонаследии, впервые в русской истории чётко определившим порядок передачи российской короны по прямой мужской линии. Но закон этот фактически не заработал. Александр I, вступая престол через труп отца, внёс в текст о присяге оговорку, согласно которой присяга приносилась государю и наследнику престола, *«который назначен будет»*. Т.е. это было возвращением к петровскому закону о престолонаследии и отказом от павловского Акта, по смыслу которого наследником автоматически становился Константин Павлович. Таинственность, которой Александр I окружил вопрос о своём наследнике, стала одной из важных причин политического кризиса 14 декабря 1825 г.

При Николае I проблема была нормализована. Но уже в конце правления Александра II она снова обострилась. По вполне достоверным слухам, император собирался короновать свою вторую, морганатическую супругу княгиню Юрьевской. Эти слухи тянули за собой и другие – о том, кому самодержец теперь завещает корону, ведь у Юрьевской был от него сын, а традиция менять наследников престола в России богатая. Мы не знаем, произошло бы это в реальности, но характерно, что такая перспектива живо обсуждалась в обществе, а цесаревич Александр Александрович в узком кругу изъявлял желание покинуть Россию и уехать в Данию.

Не менее впечатляюще выглядит и произвол русских монархов в отношении своих подданных. Назову только уникальные практики, неведомы Европе.

Выводы - многотысячные переселения людей с места на место. Наиболее масштабные при Иване III. В 1487 г. из Новгорода было выведено более семи тысяч «житых людей» (слой новгородской элиты между боярами и средними купцами). В 1489 г. произошёл новый вывод – на сей раз более тысячи бояр, «житых людей» и «гостей» (верхушка купечества). Итого – более восьми тысяч, учитывая, что население Новгорода вряд ли превышало 30 тысяч, это огромная цифра, почти треть жителей. Обширные земли, конфискованные у новгородских бояр, были розданы в поместное владение двум тысячам человек из различных уездов Московского государства. Были выводы и в других городах, затем они продолжились при Василии III и при Иване IV. Более локальные выводы мы видим и при Алексее Михайловиче и даже при Петре I.

Опричнина – совершенно уникальный случай государственного террора в Европе даже для XVI в., что бы там ни говорили наши патриоты, вспоминая Варфоломеевскую ночь, сравнение с ней как раз очень показательное и хорошо подчёркивает специфику русского случая. Хорошо также сравнить со случаем Эрика XIV Шведского, современника Грозного и тоже психически не совсем здорового человека.

Многовековое преследование старообрядцев. Если для XVII в. эти гонения ещё можно сравнить с гонениями против гугенотов во Франции, то их рецидив при Николае I и дальнейшее сохранение их неравноправия до 1905 г. не имеет европейского аналога. «...По официальным данным, число ежегодно постановляемых судебных приговоров против раскольников в 1847 – 1852 гг. было уже свыше 500 в год, а число лиц, состоявших под судом за принадлежность к расколу, в это пятилетие достигло 26 456» (А.А. Корнилов).

Павловская хаотическая тиранья.

Военные поселения, охватившие около 15% русской армии и просуществовавшие более четырёх десятков лет с 1816-го до конца 1850-х – нач. 1860-х гг., будучи юридически абсолютно незаконными (Александр I так и не подписал никаких документов, с ними связанных).

Гонения на русский образованный класс за «мыслепреступления» с конца XVIII – до нач. XX в., от Новикова и Радищева до Льва Толстого.

Режим усиленной охраны, существовавший в ряде губерний (в т.ч. в Петербургской и Московской) с 1881 по 1917 г., приближавшийся к чрезвычайному положению, когда во внесудебном порядке любого подозрительного человека могли подвергнуть высылке.

В общем, подданные российских монархов всегда могли ждать от них неприятных сюрпризов. Ламздорф в дневнике от 14 мая 1894 г. сочувственно цитирует слова своего знакомого: «...не может быть и речи о каких-то гарантиях существования в стране, где вас неожиданно отбрасывают на полвека назад, даже не крикнув “берегись”»!

Наряду с этими всё-таки экстраординарными практиками существовал и хронический – из века в век – чудовищный произвол и коррупция агентов верховной власти на местах, мало чем отличающиеся от стиля глуповских градоначальников. Надо признать, что уровень гротеска фантазии Салтыкова-Щедрина не сильно превышает гротеска в подлинных исторических документах.

Понятно, что верховная власть вовсе не требовала от администрации именно такого поведения. Но сама система во многом эти злоупотребления провоцировала. Во-первых, бесконтрольностью провинциальной администрации, которая была на местном уровне своего рода микро-самодержавием. Во-вторых, негласной уверенностью, что для благосклонности высшего начальства «лучше перебдеть, чем недобдеть», а сигналы об усилении строгости оно посылало неоднократно. В-третьих, нередко монархи закрывала глаза на злоупотребления чиновников, если видела в них преданных, благонадежных слуг (патримониализм, как и было сказано!).

Что же касается «автосубъектности» русской власти, то упорная борьба последней с любыми формами автономной субъектности проходит через всю историю второй половины XV – начала XX в. Уничтожение всяких следов самобытности всех русских земель, постепенно входящих в Московское государство. Полное подчинение городского самоуправления власти воевод и губернаторов. Запрещение любых видов общественной самоорганизации, даже благотворительных обществ. Жёсткое ограничение границ деятельности земства. В итоге в момент колоссального государственного кризиса после падения самодержавия русское общество не имело в руках никаких рычагов управления.

Что же касается «автосубъектности» русской власти, то упорная борьба последней с любыми формами автономной субъектности проходит через всю историю вт. пол. XV - нач. XX в. Уничтожение всяких следов самобытности всех русских земель, постепенно входящих в Московское государство. Полное подчинение городского самоуправления власти воевод. Запрещение любых видов общественной самоорганизации, даже благотворительных обществ. Жёсткое ограничение границ деятельности земства. В итоге в момент колоссального государственного кризиса после падения самодержавия русское общество не имело в руках никаких рычагов управления. 2 июня 1915 г., французский посол Морис Палеолог зафиксировал в дневнике разговор с крупным промышленником и финансистом А.И. Путиловым, хорошо сформулировавшим причины бессилия образованного класса и катастрофичности грядущей революции: «У нас... революция может быть только разрушительной, потому что образованный класс представляет в стране лишь слабое меньшинство, лишённое организации и политического опыта, не имеющее связи с народом. Вот, по моему мнению, величайшее преступление царизма: он не желал допустить, помимо своей бюрократии, никакого другого очага политической жизни. И он выполнил это так удачно, что в тот день, когда исчезнут чиновники, распадется целиком само русское государство». Этим и воспользовалась маргинальная, но энергичная тоталитарная секта, основавшая новую форму самодержавия.

Ещё одна важная особенность русского самодержавия – высокий уровень его сакрализации, приближающийся к обожествлению. Сакрализация власти была присуща и Европе, но уже с XIII в.

императоры и короли «заимствовали свой отблеск вечности не столько у Церкви, сколько у Правосудия и Публичного права в толковании ученых юристов... Древняя идея литургической сущности власти постепенно исчезала, уступая место новой модели королевской власти, центрированной на сфере права...» (Э. Канторович). В отличие от других европейских монархий, к XVIII в. всё более и более секуляризовавшихся, русская, напротив, в это время усилила свою самосакрализацию, ибо, начиная с Петра I, упразднившего патриаршество, российские венценосцы фактически соединили в своих руках и светскую, и духовную власть. «...царское самодержавие начинает приобретать статус вероисповедного догмата. Почитание царя становится рядом с почитанием святых, и, таким образом, культ царя делается как бы необходимым условием религиозности... В чине анафематствования, совершаемом в Неделю Православия, среди перечисления главных догматических ересей в императорский период было вставлено (под № 11): “Помышляющим, яко православные государи возводятся на престол не по особливому о них Божиему благоволению и при помазании дарования Св. Духа к прохождению сего великаго звания в них не изливаются: и тако дерзающим против них на бунт и измену – анафема”» (Б.А. Успенский, В.М. Живов).

Даже в начале прошлого века королева Румынии Елизавета с удивлением говорила обер-гофмейстрине последней русской императрицы Е.А. Нарышкиной: «У нас дела не так обстоят, как у вас. В вашей стране властители являются полубогами и могут делать все, что им угодно. Мы же должны действовать, чтобы заслужить признание нашего народа...». Между тем десакрализация самодержавия в общественном сознании всё-таки происходила, лавинообразно этот процесс пошёл в ходе Первой мировой войны. Зато сам последний монарх и его супруга были совершенно захвачены мистическим восприятием собственной власти. Николай II аргументировал П.А. Столыпину свой отказ снять правовые ограничения с евреев, тем, что ему не позволяет это сделать его «внутренний голос», который невозможно игнорировать, ибо «сердце царево в руках Божиих». Подобные настроения в нём поддерживала и Александра Фёдоровна, апеллировавшая, как известно, к весьма сомнительным «духовным» авторитетам и настаивавшая, чтобы император расчёсывался перед важными разговорами специальным гребешком, благословлённым Распутиным.

Важно отметить, что мощный размах государственного насилия, свойственный всем инкарнациям русской власти, не компенсировался её эффективностью в других областях (за исключением – но далеко не всегда! – военной). Россия во всех своих обликах была одной из самых недоуправляемых европейских стран с плохо организованной инфраструктурой, с запутанностью и нерешенностью множества жизненно важных проблем, с высочайшим уровнем коррупции и преступности. Но выше уже приводились слова Вебера о том, что для патримониального чиновника важнее преданность не делу, а господину, – последнего, видимо, такой подход тоже устраивает. В терминологии М. Манна, государство в России обладало высокой степенью «деспотической» власти, т.е. властная элита могла править, «не вступая в какие-либо переговоры с группами гражданского общества». Но зато степень «инфраструктурной» власти (т.е. «способности государства проникать в гражданское общество и централизованно координировать его деятельность посредством своей инфраструктуры») у самодержавия была довольно низкой.

Споры о генеалогии русского самовластия идут уже не первое столетие. Само обилие противоречащих друг другу версий показывает, насколько этот вопрос неясен, главным образом, из-за ничтожно малого количества источников по русскому Средневековью.

С лёгкой руки В.О. Ключевского, например, утвердилось мнение, что порядки, установившиеся во второй половине XV в. в великом княжестве Московском – лишь завершение социально-политических процессов, протекавших ещё до монгольского нашествия в XII – XIII веках в Северо-Восточной Руси, прежде всего во Владимиро-Суздальской земле. Дескать, в отличие от

южнорусских князей, вынужденных договариваться с общинами больших, торговых городов, суздальские Рюриковичи были колонизаторами и землеустроителями малозаселённого, преимущественно сельского края. Поэтому новые северо-восточные города оказались от них в совершенной зависимости и не имели возможности ограничить власть правителя-хозяина. «...В лице московского князя получает полное выражение новый владетельный тип, созданный усилиями многочисленных удельных князей северной Руси: это князь-вотчинник, наследственный оседлый землевладелец...».

Между тем нет никаких данных о специфически земледельческой колонизации Северо-Востока; Ростов и Владимир жили широкой торговой жизнью, и именно «торговый элемент» составлял большинство их населения; в северо-восточных городах активно действовало городское народное собрание – вече, так же как и в южных (и в Новгороде), которое призывало князей править и заключало с ними договоры (ряды). Накануне монгольского нашествия как будто ничто не предвещало, что именно на Северо-Востоке Руси родится московское самодержавие.

Другое распространённое объяснение специфики русской власти, также идущее от Ключевского – экстремальный уровень внешней опасности, превративший Россию в обширный воинский лагерь. «Военное по происхождению», такое государство, естественно, «и устроилось по-военному» – а на войне о правах и свободах думают меньше всего. В самом деле, войны, как правило, способствуют централизации государств и усилению власти правителей, но совершенно необязательно в форме ничем не ограниченной автократии.

Королевства Пиренейского полуострова вели Реконквисту против арабов с VIII по XV век, но именно в её ходе появились сословно-представительные органы – кортесы, были законодательно закреплены городские свободы – фуэрос; резкий же рост королевской власти начался как раз *после* окончания этой многовековой борьбы. Монгольское нашествие в 1241 – 1242 гг. буквально испепелило Венгрию, возрождающееся королевство лихорадочно готовилось к отражению нового удара. Однако Золотая булла, обещавшая сословиям широкие права, была не аннулирована, а, напротив, подтверждена. В XIV – XVII столетиях важнейшим политическим фактором жизни Венгрии стали непрекращающиеся войны с османами (которые оккупировали часть королевства и даже его столицу – Буду), но политические вольности мадьярского дворянства никуда не исчезли. Ситуация вроде бы схожая с московской, а последствия совершенно другие. Чуть ли не всю свою историю воевала с разными врагами славянская и православная Сербия, но тамошняя монархия никогда надолго не могла надолго стать всевластной.

А разве меньше, чем Московское государство вела войн Византия? Больше, гораздо больше! Однако политические порядки Второго Рима, вопреки устоявшемуся ошибочному представлению, мало чем напоминали государственное устройство Рима Третьего.

Едва ли не самая популярная разгадка происхождения особенностей российской государственности – климатически-географическая, с претензией на академичность изложенная в монографии Л.В. Милова «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса». Поскольку суровые природные и погодные условия Русской равнины сформировали сельское хозяйство с крайне ограниченным объёмом совокупного прибавочного продукта, роль государства в России была исключительно велика, «ведь чем меньше объем прибавочного продукта... тем сильнее проявляется роль насилия в процессе изъятия и концентрации этого продукта». Таким образом, уже в Древней Руси возникла система «государственного феодализма», где господствующий класс получал доходы от эксплуатации крестьянства не через развитие частного землевладения, а через распределение государственных налогов. Эта система в дальнейшем стала социально-экономической основой как Московского государства, так и Российской империи.

Концепция Милова, хоть и увенчанная Государственной премией РФ 2000 г., вызывает массу вопросов. Но в рамках данной темы достаточно и одного. Почему в домонгольской Руси «государственный феодализм» не породил политический строй, аналогичный или хотя бы близкий московскому самодержавию? Напротив, в первой трети XIII века мы видим торжество политической раздробленности и активную роль веча. При этом, несмотря на разницу в климате с восточно-русскими землями, «государственный феодализм» до XIII века господствовал и во многих странах Восточной и Центральной Европы, чешские историки даже в этой связи говорят о «среднеевропейской модели государства периода раннего средневековья», отличающейся от Каролингской Европы слабым развитием частного землевладения и высоким уровнем централизации власти. Но позднее пути Венгрии, Чехии, Польши, с одной стороны, и России, с другой, радикально расходятся. Что же, на русском Северо-Востоке настолько резко похолодало? Таких данных в нашем распоряжении нет. Зато мы точно знаем, что в XIII столетии с Русью произошла вовсе не климатическая, а политическая катастрофа.

Разумеется, речь идёт об установлении монгольского ига. Именно в нём видели главный исток московского самодержавия такие корифеи русской историографии и правоведения как Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский, В.И. Сергеевич и др. В сжатом виде эту точку зрения хорошо представил В.Н. Латкин: «Россия была объединена под властью ордынского царя, воля которого была безусловна для покоренных. Князья играли роль его наместников и сборщиков податей. Назначение их уж более не зависело от народа, а исключительно от хана. В прежнее время, когда согласие народа было необходимым условием вступления на княжеский престол, князья не могли рассматривать свои княжения как предмет собственности; иначе стало теперь, когда княжения жаловались ханам и народ превратился в пассивную массу. В руки князей досталось сильное орудие для порабощения народа и для усиления своей власти на счет власти последнего. Это – сбор податей, установленных татарами. Князья не замедлили воспользоваться подобным выгодным положением и с помощью татар нанести смертельный удар вечевому строю. Таким образом, вече в качестве политического органа должно было пасть, хотя официальной его отмены, конечно, не было, но в виду отсутствия поводов к собранию, вече собиралось все реже и реже, пока, наконец, совершенно не вышло из употребления».

Итак, дело вовсе не в том, что московская политическая система копировала ордынскую. Напротив, системы эти заметно разнились: ханов в отличие от великих князей избирали на съезде знати – курултае; при возведении на ханский престол с претендента брали обещание править справедливо под угрозой свержения; несправедливые поступки хана могли быть поводом для прекращения службы его вассалов; в Орде так и не утвердился обычай передачи власти от отца к сыну и продолжал господствовать родовой принцип наследования. Поэтому говорить можно только о *деформации*, которой подверглись русские политические порядки под воздействием монгольского гнёта.

Полное торжество московского самодержавия в конце XV – начале XVI века совпадает с окончательным падением ордынского гнёта. Иго исчезло, но властная «колониальная» структура, им сформированная, осталась и даже усилилась. Свергший господство монгольского «царя» великий князь занял его место.

Наряду с монгольским, определяющим зарубежным влиянием на процесс московского политогенеза традиционно считается византийское. Но сегодня приверженцев этой версии среди серьёзных историков практически нет, она стала уделом ангажированных публицистов «охранительного» толка, продолжающих заученно твердить о преемственности Второго и Третьего Рима. На самом деле, общее между ними только православие, в политической же сфере различия явно преобладают.

В Византии, как и в Западной Европе, монархическая власть имела не только теократическое обоснование, но и вполне светское, республиканское. Басилевсы считались не собственниками *politeia*, а её хранителями. Восточная Римская империя управлялась на основе законов, в ней существовала развитая система государственного и частного права. Император имел право действовать за пределами закона, но только при условии, что это было необходимо для пользы римского народа. Нарушение законов по личному произволу монарха воспринималось как тирания (общее место византийского политического дискурса: «законный царь делает закон своей волей, в то время как тиран делает свою волю законом»).

Можно ли, однако, сказать, что власть московских государей сформировалась *исключительно* благодаря ордынскому воздействию? Нет, разумеется, были в Древней Руси и внутренние факторы, способствовавшие этой судьбоносной деформации. Прежде всего – слабость юридической культуры домонгольской Руси сравнительно с ареалом распространения римского права – от Византии до Западной Европы. Особенно капитальным становится разрыв между правовой культурой Руси и Западной Европы после т.н. «Папской революции» XI – XII веков, одной из важнейших составляющих которой стало формирование правовых систем как церковного, так и светского права. Права и привилегии знати и городов стали оформляться юридически, возникает понятие о естественном праве, о том, что правитель должен править в согласии с законами, а тот, кто им не следует – тиран и т.д.

Право на Западе стало одним из важнейших общественных институтов, во многом определяющим политическое, социальное, экономическое развитие. Без него были бы немыслимы те самые «союзы сословно привилегированных лиц», с которыми верховная власть вынуждена была выстраивать договорные, а не приказные отношения. Русь, не принадлежавшая латинскому миру, осталась от этого процесса в стороне, отношения власти, элиты и горожан продолжали основываться на нормах обычного права и потому специально не фиксировались. На Руси были известны сборники византийского церковного права в церковнославянском переводе, но как показал В.М. Живов, «византийско-церковнославянское право... не находит себе прямого практического применения», выполняя лишь сугубо культурно-идеологическую функцию. Не выработав «легального» дискурса, древнерусское общество не могло породить и сословную организацию с набором неотъемлемых прав и привилегий, аналогичную западноевропейской.

Можно предположить также, что слабость легализма на Руси обуславливалась и особенностями русской религиозности. В отличие от западного христианства с его строгой покаянной дисциплиной и регулярной калькуляцией грехов и добрых дел, упором на личную ответственность каждого отдельного человека, «русское [религиозное] спасение от индивидуальной морали (...) не зависело. Спасение относилось ко всему православному сообществу и приходило само собой», через литургическую практику (В.М. Живов). Особенно это отличие усилилось после «дисциплинарной революции» XVI в., связанной как с появлением протестантизма, так и с Контрреформацией.

Русское православие, как свидетельствует бесчисленное количество источников (и как можно наблюдать и сегодня), сосредоточившись на пышной внешней обрядности, ничтожно мало сделало для нравственного воспитания русского народа.

Горькие жалобы самых разных людей, далёких и от тени намёка на «руссофобию», да и страшное крушение православной России в 1917 году, заставляют без патриотического предубеждения задуматься над формулой Жозефа де Местра: «...род человеческий в целостности своей пригоден для гражданских свобод лишь в той мере, насколько проникся он христианством... а если христианство ослабевает, нация в точной сему пропорции делается менее пригодной для свободы». (Могут возразить: а разве на Западе параллельно с ростом демократизации

христианство не ослабевало? В узко-церковном смысле, да, но сама эта демократизация и есть секуляризованное христианство.)

На минуту сменив эмпирический дискурс на метафизический, сделаем предположение, что в обществе, лишённом прочной христианской правовой и моральной культуры, единственной подлинной легитимностью будет обладать *сила как таковая*, ибо ни законы, ни заповеди, как механизмы социальной саморегуляции, здесь не работают. Несть числа источникам, красноречиво рассказывающим, как в самые разные эпохи русский человек, получив в свои руки любую маломальскую власть, перестаёт сдерживать свои страсти, а их жертвой становятся те, кто от него так или иначе зависят. Возможность над кем-то властвовать – едва ли не верхушка русской пирамиды социальных ценностей. Естественно, что в таком обществе возрастает роль государственного принуждения, которое является плодом той же примитивной «силовой» культуры и потому не слишком способно к внутреннему самоограничению.

Поразительно, однако, что при этом тотальном «властецентризме» столь слабы попытки нижестоящих ограничить властные возможности верховного правителя – как правило, его первенство беспрекословно признаётся, но с тем, чтобы и у бесправных подчинённых были свои бесправные подчинённые, а у тех – свои и т.д. Показательный пример: буйные и своевольные русские провинциальные дворяне XVIII – первой трети XIX в., которые вели между собой настоящие феодальные войны и могли перестрелять из пушек суд, ехавший к ним, были совершенно равнодушны к закреплению своих прав на политическом уровне, подобно, например, польской шляхте. Понятно, что такая «лестница доминирования» вообще присуща человечеству как виду, но всё же западная цивилизация создала некоторые важные механизмы для её ограничения, в русском же случае эти механизмы работают неважно.

Не так просто ответить на знаменитый вопрос барона Сигизмунда Герберштейна, возникший у него при наблюдении московских порядков XVI столетия: «...то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким». С одной стороны, «варварская» культура порождает и подпитывает соответствующий тип власти, с другой – такая власть обязательно будет вытаптывать любые, самые слабые ростки её институциональных ограничений, любые формы общественной самоорганизации. И этот замкнутый круг очень сложно (если вообще возможно) разорвать. Западное влияние накладывалось на московскую «матрицу», но внутрь неё проникало слабо и к моменту крушения Российской империи определяло ментальность слишком тонкого слоя населения.

Есть все основания думать, что невыработанность русского «легалистского сознания» изрядно помогла ордынской деформации. Когда фактический ограничитель княжеской власти – вече – перестал действовать, московский государь стал неограниченным правителем по праву сильного, аргументов против которого в «нормативном словаре» (К. Скиннер) русской культуры было явно недостаточно.